

ЯЗЫК
СЕМИОТИКА
КУЛЬТУРА

В. Н. ТОПОРОВ

**Святость и святые
в русской духовной
культуре**

Том II

**Три века
христианства на Руси (XII–XIV вв.)**

**Память о Преподобном Сергии:
И. Шмелев – «Богомолье»
(Приложение V)**



**ШКОЛА
«ЯЗЫКИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ»
МОСКВА 1998**

ББК 86.372-3
Т 58

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда
(РГНФ)
проект 96-04-16267

Топоров В. Н.

Т 58 Святость и святые в русской духовной культуре. Том II.
Три века христианства на Руси (XII–XIV вв.). Приложение V.
Память о Преподобном Сергии: И. Шмелев – «Богомолье». –
М.: Школа «Языки русской культуры», 1998. – 48 с.

ISBN 5-7859-0067-X

ББК 86.372-3

Except the Publishing House (fax: 095 246-20-20, E-mail: lrc@koshelev.msk.su)
the Danish bookseller firm G·E·C GAD (fax: 45 86 20 9102, E-mail: slavic@gad.dk)
has an exclusive right on selling this book outside Russia.

Право на продажу этой книги за пределами России, кроме издательства
Школа «Языки русской культуры», имеет только датская книготорговая
фирма G·E·C GAD.

ISBN 5-7859-0067-X

- © В. Н. Топоров, 1998
- © А. Д. Кошелев. Серия «Язык. Семиотика.
Культура», 1995
- © В. П. Коршунов. Оформление серии, 1995

Электронная версия данного издания является собственностью издательства,
и ее распространение без согласия издательства запрещается.

ПРИЛОЖЕНИЕ V

ПАМЯТЬ О ПРЕПОДОБНОМ СЕРГИИ: И. ШМЕЛЕВ — «БОГОМОЛЬЕ»*

Началась русско-японская война. Офицерам полка, расквартированного в Рязани, предстоял дальний путь в Маньчжурию. Их жены были в волнении и тревоге. Одной из них, Е. Ф., приснился Сергей Радонежский. Он сказал ей: «Отправляйся пешком в Троицу. Помолись, купи иконки и, вернувшись, раздай их всем, кто уходит на войну». Так все и было сделано. Не удалось отдать иконку жениху лучшей подруги Е. Ф. Кати Глазко, дочери известного генерала: он был в отъезде... Единственный из тех, кому предназначались иконки и до кого иконка Сергия не дошла, кто не вернулся с войны, был именно он. Она навсегда осталась одинокой.

Голодные годы в начале 30-х, во время коллективизации. Серебряные оклады с икон давно снесены в торгсин в обмен на жалкие боны, а сами иконы каким-то странным образом исчезли из дома. Ребенок, играя в мяч, закатил его в дальний угол комнаты, куда — и тоже не без труда — можно было пробраться лишь ползком: столик, диван на низких ножках, невысокий шкафчик с коробом радио преграждали путь в угол. Но преграды были все-таки преодолены, и там, в самом углу, была обнаружена большая, в окладе, икона: суровый и всепонимающий лик был изображен на ней. Когда с недоуменным вопросом икона была показана взрослым, они, явно недовольные раскрытием тайны, чуть замешкавшись, сказали,

* По ряду причин это Приложение V, завершающее книгу «Святость и святые в русской духовной культуре», том II (М., 1998), не могло быть включено в нее, и тем самым последняя, наиболее подробная часть книги осталась бы без своего естественного завершения. Сейчас это упущение восстанавливается публикацией Приложения. — Тексты «Богомолья» цитируются по изданию: *Иван Шмелев. Богомолье*. М., 1997 (ср. также: *И. С. Шмелев. Лето Господне. Богомолье*. Статьи о Москве. М., 1990).

Приложение V

что это о с о б е н н ы й святой, самый большой из русских, и назвали его имя, слышанное ребенком и ранее, но только с того момента вошедшее навсегда в его сознание.

Из семейной хроники и воспоминаний детства

«Богомолье» Ивана Сергеевича Шмелева писалось, несмотря на небольшой объем этого произведения, полтора года — с июня 1930-го по декабрь 1931-го — вдали от России, но в память о ней. Думается, что само писание «Богомолья» было для автора мучительным и радостным одновременно: мучительным, потому что все это было утрачено раз и навсегда; радостным, потому что само это писание было воспоминанием-восстановлением и одновременно переживанием сладчайшего из того, что было в той, иначе как в воспоминании, невозвратимой жизни. Конечно, воспоминание о дорогом и к тому же безвозвратно утраченном чреват соблазном идеализации, некоего положительно преувеличенного описания прошлого. Но это идеальное вовсе не непременно победа соблазна над воспоминаем. Он сам, исполнившись духа любви и той цепкости памяти и зоркости зрения, которые в счастливые минуты дарует эта любовь, приобретает особый дар рельефного и полного видения того, что было, применение которого и есть само по себе восстановление лучшего и наиболее ценного в этом миновавшем прошлом, второе, более обостренное, переживание и тех частных, которые остались в памяти, и самого духа, который придает единство, полноту и смысл этим частностям и который может быть уловлен, прочувствован и описан только уже после того, как все это утрачено, и не ребенком, все это некогда пережившим, но зрелым человеком, печально, со стесненным сердцем, но и с глубокой благодарностью за все, что некогда было, прощающимися с дорогими воспоминаниями.

Иван Ильин в своей статье о «Богомолье» И. С. Шмелева говорит о том, что в этом произведении он «продолжает свое *дело бытописателя* “Святой Руси”», и добавляет:

Руси, — народа простого и душевно открытого, благодушного и уветливого, прошедшего с молитвой и верой великий и претрудный путь исторических страданий и осмыслившего свою земную жизнь как служение Богу и Христу.

И далее, хотя и с меньшей очевидностью и с большим субъективизмом:

Это не преувеличение: «Святая Русь»... Прошли, канули безвозвратно в историю темные годы религиозной слепоты и глухоты, когда эти чудесные слова выговаривались с иронической, кривой усмешкой... Русская интеллигенция учится и научится произносить их иначе — с глубоким чувством, цельно и искренно: и сердцем, и разумом, и устами, и во-

Память о Преподобном Сергии

лею. «Богомолье» Шмелева даст это внутреннее прозрение и видение; не видение-призрак, не иллюзию, а подлинную реальность во всей ее очевидности. Он выговаривает здесь некую *великую правду о России*. Он высказывает и показывает ее с тою законченною художественною простотою, с тою ненарочитостью, непреднамеренностью (*desinvolto*), с тою редкостною безыскусственностью, которая дается только художественному акту предельной искренности. Сила этой искренности такова, что расстояние от художника до его образов и расстояние от его образов до читателя преодолевается и снимается совсем: *всё* угасает, *всё* забывается, все условности «авторства», «литературности», «чтения»; реально только *богомолье* — горсть людей, ведомых вдаль, к Преподобному, и путь, ведущий и приводящий их к Н е м у. Какая художественная и духовная радость — забыть себя и найти их! Как *легко* эта радость дается! Какая *творческая сила*, какое зрелое мастерство скрыто за этой легкостью!

Вероятно, не со всем здесь сказанным можно согласиться вполне. Бок о бок с великой правдой в России существовала, а в XX веке и набрала страшную силу неправда — и не как отсутствие правды, бесправдие, а как активное, агрессивное и деструктивное начало, как К р и в д а, затмившая ту великую правду о России, о которой говорится выше и которая действительно жива и сейчас. XX век, как, пожалуй, никакой другой в истории России, оправдал ситуацию, описанную в «Стихе о Голубиной Книге»: прение Правды и Кривды кончилось тем, что Правда вынуждена была уйти на Небо, а Кривда воцарилась на Руси — с тем только дополнением, что сонмы праведников, носителей Правды, стали жертвами Кривды здесь, на Земле.

Но в «Богомолье» речь идет о святой Руси, о том подъеме святости, который связан с богомольем, обновлением, духовным очищением, с тем праздником души, который «выражает самое естество России — и странственное, и духовное [...] способ быть, обретаать и совершенствоваться [...] *ее путь к Богу*» (И. Ильин), на котором открывается ее святость. Тот же автор — и в этом отношении к нему, конечно, присоединяется и Шмелев — хорошо знает, что понятие и образ святой Руси таят в себе соблазны, которые могут открыть ложный путь — к гордыне, к сознанию собственной исключительности, к недооценке или умалению «чужой» святости. Поэтому он особо повторяет то, что, строго говоря, вытекает из всего хода его рассуждений и из шмелевского «Богомолья».

Русь именуется «святою» не потому, что в других странах нет святости; это не гордыня наша и не самопревознесение; оставим другим народам грешить, терять, искать и спасаться по-своему. Речь о Руси [...] Русь именуется «святою» и не потому, что в ней «нет» греха и порока; или что в ней «все» люди — святые... Нет.

Но потому, что в ней живет глубокая, никогда не истощающаяся, а по греховности людской и не утоляющаяся *жажда праведности*, мечта

Приложение V

приблизиться к ней, душевно преклониться перед ней, *художественно отождествиться с ней*, стать хотя слабым отблеском ее... — и для этого оставить земное и обыденное, царство заботы и мелочей и уйти в богомолье.

И в этой жажде праведности человек прав и свят при всей своей обыденной греховности [...] И когда мы говорим о «Святой Руси», то не для того, чтобы закрыть себе глаза на эти пределы человеческого естества и наивно и горделиво идеализировать свой народ; но для того, чтобы утвердить вместе со Шмелевым, что рядом с *окаянную Русью* (и даже в той же самой душе!) всегда стояла и *Святая Русь*, молитвенно помогавшая ко Господу и достигавшая Его лицезрения — то в свершении совершенных дел, то в слезном покаянии, то в «томлении духовной жажды» (Пушкин), то в молитвенном богомолнии. И Россия жила, росла и цвела потому, что *Святая Русь вела несвятую Русь*, обуздывала и учила *окаянную Русь*, воспитывая в людях те качества и доблести, которые были необходимы для создания Великой Руси [...] А когда Святая Русь была мученически отстранена от водительства [...], тогда она ушла в новое таинственное богомолье душевных и лесных пещер, вслед за уведшим ее Сергием Преподобным: там она пребывает и поныне.

«Богомолье» — как раз о той Святой Руси, которая направлена на идеал святости, о людях, в которых живет святое или которые ему открыты и не забывают о нем, приближаются к нему, хотя бы только в лучшие моменты своей жизни, когда происходят духовное очищение и просвещение. Богомолье, связанное с паломничеством в Троице-Сергиеву Лавру, уже столетия назад ставшее традицией, и с данью памяти и любви Сергию Радонежскому, — один из таких светлых праздников года, когда в человеке пробуждается лучшее в нем, когда он особенно чуток к святому, к Божественному. Впрочем, в «Лете Господнем» Шмелев убедительно показывает, что эта чуткость, эта открытость лучшему распределена и по всему году в отмеченных точках его. Потому-то и *лето* — *Господне*, что весь год люди хотя и стараются — при всех отклонениях, прегрешениях, срывах — жить с Богом или даже в Боге, возлагать свою надежду на Него, вспоминать о своем Богоподобии. «Лето Господне» построено внешне просто, даже безыскусно, в соответствии с временным рядом годового круга. Столь же простым представляется по своей структуре «Богомолье», даже еще проще и безыскуснее, чем «Лето Господне»: из всего состава годовых праздников выбирается лишь один и, строго говоря, не из самых главных по своему церковному рангу: описываемое здесь богомолье по своему значению, конечно, уступает и Пасхе, и Рождеству, и другим праздникам, отмечаемым Вселенским христианством и Церковью. Но этот праздник — совершенно особый, если угодно, народный, глубоко укорененный в жизни народа, в его быте, его занятиях, его надеждах и

чаяниях. В известном смысле можно сказать, что хозяин и инициатор описываемого у Шмелева богомолья сам народ, он главное действующее лицо богомолья. И само богомолье как бы вырастает из повседневности, из быта, и духовное, религиозное, именно «сергиево» выходит на первый план лишь постепенно, не порывая с повседневностью и бытом, но о с в я щ а я их, сакрализуя самую жизнь, придавая ей некий особый, высший смысл — единения в духе, душевного согласия, осознания своей соборности как сопричастности общему делу, некоей общей идее.

В «Богомолье» двенадцать глав. Они описывают в правильной временной последовательности все этапы того целого, которое объединяется названием богомолья. По названию глав нетрудно представить себе, о чем идет речь в каждой из них: 1. Царский золотой, 2. Сборы, 3. Москвой, 4. Богомольный садик, 5. На святой дороге, 6. На святой дороге, 7. У Креста, 8. Под Троицей, 9. У Троицы на Посаде, 10. У Преподобного, 11. У Троицы, 12. Благословение.

Только первая глава («Царский золотой») остается неясной для приступающего к знакомству с текстом читателя, познакомившегося с заглавием ее. Но композиционная роль этой главы и ее глубинный смысл обнаруживаются легко при первом же ее прочтении.

Всё начинается не слишком благополучно. Сразу же обнаруживается некоторая шероховатость ситуации, даже напряженность, дающая повод предполагать ситуацию некоего дефицита, который может отрицательно повлиять на продуманный план больших и разнообразных работ в обширном хозяйстве, где выполнение плана — долг и дело чести. Теснота дел, работ, обязанностей, действующих лиц, хотя и в первой главе и во всей книге (кстати, как и в «Лете Господнем») три персонажа отмечены — мальчик, с чьей позиции увидено и описано происходящее; отец, стоящий во главе большого дела и имеющий дело со многими людьми, человек активный, энергичный, динамичный; и Горкин, первый помощник и советчик отца мальчика, хотя он, Горкин, теперь на покое: мальчик любит своего «Горку», отец глубоко уважает его и прислушивается к нему, даже если сам придерживается иного мнения. Так случилось и в первой главе, и все очень легко могло бы направить события в ту сторону, где о богомолье не могло быть и речи.

Действие начинается на Петровкѣ, в самый разгар работ, когда отец целыми днями пропадал на стройках. Да и приказчик Василь-Василич дома не ночевал, всё в артелях. Горкин свое отслужил, он «на покое», и его тревожат только в особых случаях, когда «требуется свой глаз». Мальчик не все понимает в деталях, но чувствует, что не всё в порядке. «Работы у нас большие, с какой-то «неустойкой»: не кончишь к сроку — можно и прогореть». Что такое «прогореть», ему не вполне ясно, и он спрашивает у Горкина, что такое это «прогореть». — «А вот скинут по-

Приложение V

следнюю рубашу, — вот те и прогорел! Как прогорают-то... очень просто», — разъясняет Горкин. — А с народом совсем беда: к покосу бегут домой в деревню, и самые-то золотые руки», — поясняет Горкин. Отец страшно озабочен, весь в спешке, летний пиджак его весь мокрый: начались жары, Кавказка с утра до вечера не расседлана: «все ноги отмотала по постройкам». Отец кричит Василь-Василичу:

— Полуторное плати, только попридержи народ! Вот бедовый народишка... рядились, черти, — обещались не уходить к покосу, а у нас неустойки тысячные... Да не в деньгах дело, а себя уроним. Вбей ты им, дуракам, в башку... второе ведь у меня получат, чем со своих покосов!..

И Василь-Василич, заметно похуевший и беспомощно разводя руками:

— Вбивал-с, всю глотку оборвал с ними... [...] ничего с ними не подедаешь, со спокон веку так. И сами понимают, а... гулянки им будто, травкой побаловаться. Как к покосу — уж тут никакими калачами не удержат, бегут. Вернутся — приналягут, а откуда сбродных попринайдем. Как можно-с, к сроку должны поспеть, будь покойны-с, уж догляжу.

Примерно то же говорит и Горкин. Он знает: «покос — дело душевное, нельзя иначе, со спокон веку так; на травке поотдохнут — нагонят». Итак, народ — ненадежен, вернее, не вполне надежен; отношение его к договору, к условию — гибкое; ради родного, издавна поведшегося они уедут на покос, но, вернувшись, приналягут и в конце концов всю работу завершат. Сам отец понимает, что так и будет, но он деятель новой формации, его отношение к договору, к слову иное, и потому сейчас он раздражен: его дело поставлено под угрозу невыполнения, срыва.

И именно в эту минуту к нему приступает Горкин. «Что тебе еще?.. [...] Какой еще незалад?» — спрашивает отец тревожно, раздраженно. — «Да все, слава Богу, ничего. А вот хочу вот к Сергию Преподобному сходить-помолиться, по обещанию... взад-назад». Так впервые обозначается в «Богомолье» тема Сергия. Отец в крайнем раздражении: «Ты еще... с пустяками! Так вот тебе в самую горячку и приспичило? помрешь — до Успенья погодишь?» Отец замахивается вожжой — вот-вот уедет. — «Это не пустяки, к Преподобному сходить-помолиться... — говорит Горкин с укоризной. — [...] Теплую бы пору захватить. А с Успенья ночи холодные пойдут, дожди... уж нескладно итить-то будет. Сколько вот годов все собираюсь...»

Но у отца свои резоны и свой выход из положения — «Поезжай по машине, в два дня управишься. Сам понимаешь, время горячее, самые дела, а... как я тут без тебя? Да еще, не дай Бог, Косой запьянствует? — Господь милостив, не запьянствует... он к зиме больше прошибается. А всех делов, Сергей Иванович, не переделаешь. И годы мои такие, и... — А, помирать собрался? — Помирать — не помирать, это уж Божья воля, а...

Память о Преподобном Сергии

как говорится, — делов-то пуды, а она — туды [...] Она ждать не станет, — дела ли, не дела ли, а всё покончила». На этом разговор заканчивается. Сергей Иванович уезжает. Горкин расстроен и от расстройства кричит на мальчика («Ну, чего ты пристал?..») и на столяров и наконец уходит в свою каморку, а мальчик садится снаружи у окошка: его жгуче интересует, возьмет ли Горкин его с собою к Преподобному. Горкин же разбирается в сундучке, под крышкой которого наклеена картинка — «Троице Сергиева Лавра», и ворчит себе под нос:

Не-эт, меня не удержите... к Серги-Троице я уйду, к Преподобному... уйду. Все я да я... и без меня управитесь. И Ондрушка меня заступит, и Степан справится... по филенкам-то приглядеть, великое дело! А по подрядам снова — прошла моя пора. Косой не запьянствует, нечего бояться... коли дал мне слово-зарок — из уважения соблюдет. Как раз самая пора, теплынь, народу теперь по всем дорогам... Не-эт, меня не удержите.

Этот ворчливый монолог, предполагающий, однако, и второй голос, отца мальчика Сергея Ивановича, которому Горкин возражает, как бы всё более и более утверждая себя в своем намерении пойти в Лавру, именно об этом намерении, об оправдании его (дело не остановится от ухода Горкина на богомолье, помощники есть, а кого и нет, легко найдутся) и, главное, о с а м о м с е б е. Это последнее сразу ясно читателю, хотя он пока не понимает этого «эгоизма» Горкина и его устремленности во что бы то ни стало осуществить свой замысел. Сейчас для него ничего иного не существует, и когда мальчик, горько-горько чувствующий, что его-то уж ни за что не пустят, прерывает ворчание в свою моноидею ушедшего Горкина («— А меня-то... обещался ты, и? [...] А меня-то, пустят меня с тобой, а? ...»), тот, даже не глядя на мальчика, — нелюбезно, почти грубо (если не принять во внимание его состояния души):

Пу-стят тебя, не пустят... — это не мое дело, а я всё равно уйду. Не-эт, не удержите... всех, брат, делов не переделаешь, не-эт... им и конца не будет. Пять годов, как Мартына схоронили, всё собираюсь, собираюсь... Царица Небесная как меня сохранила, — показывает Горкин на темную икону, которую я знаю, — я к Иверской сорок раз сходить пообещался, и то не доходил, осьмнадцать ходов за мной. И Преподобному тогда пообещался. Меня тогда и Мартын просил-помирал, на Пасхе как раз пять годов вышло вот: «Помолись за меня, Миша... сходи к Преподобному». Сам так и не собрался, помер. А тоже обещался, за грех...

«А за какой грех?», — спрашивает мальчик Горкина, хотя, конечно, знает, за какой, но ему нужно привлечь к себе внимание Горкина, ушедшего в свою навязчивую мысль. Но и Горкин, кажется, понимает ситуацию, но, не давая себе возможности расслабиться, продолжает свой мо-

Приложение V

нолог, одновременно — как бы в знак непоколебимости своего выбора — вынимая из сундучка рубаху, полотенце, холщовые портянки, заплечный мешок:

— Это вот возьму, и это возьму... две сменки, да... И еще рубаху расхожую, и причащальную возьму, а ту на дорогу про запас. А тут, значит, у меня сухарики [...] с чайком попить-пососать, дорога-то дальняя. Тут, стало быть, у меня чай-сахар [...] а лимончик уж на ходу прихвачу, да... но-жичек, поминанье... — сует он книжечку с вытисненным на ней золотым крестиком, которую я тоже знаю, с раскрашенными картинками, как исходит душа из тела и как она ходит по мытарствам, а за ней светлый ангел, а внизу, в красных языках пламени, зеленые нечистые духи с вилами, — а это вот, за кого просвирки вынуть, леестрик... все к череду надо. А это Сане Юрцову вареньица баночку несу, в квасной послушанье теперь несет, у Преподобного, в монахи готовится... От Москвы, скажу, поклончик-гостинчик [...]

А тем временем у мальчика, чьи надежды на путешествие в Троицу почти сошли на нет, разрывается душа и он не знает, чем привлечь к себе внимание Горкина. И он хватается за первое попавшееся: «Горкин... а как тебя Царица Небесная сохранила, скажи?..» — спрашивает он о том, что сам хорошо знает. И Горкин тоже знает, что мальчику эта история хорошо известна, но в своем теперешнем расположении духа он и сам нуждается во внимании к нему другого и в очередном воспроизведении той давней истории. Она тоже о святом и о чудесном и тоже лишний аргумент в том, что долг платежом красен и что не идти к Преподобному просто никак нельзя. Теперь Горкин отрывается от дел и от своего ворчания, поднимает голову и говорит, смягчаясь, уже без строгости: «Хлюпаешь-то чего? Ну, сохранила... я тебе не раз сказывал. На вот, утрись полотенчиком... дешевые у тебя слезы».

И начинается рассказ о том, что случилось когда-то. Ломали дом на Пресне, Горкин нашел на чердаке старую иконку («ту вон...»), сошел с чердака:

стою на втором ярусу... — дай, думаю, пооботру-погляжу, какая Царица Небесная, лика-то не видать. Только покрестился, локотком потереть хотел... — ка-ак загремит всё... ни-чего уж не помню, взвило меня в пыль!... Очнулся в самом низу в бревнах, в досках, все покорежено... а над самой головой у меня здоровенная балка застряла! В плюшку бы меня прямо!.. — вот какая. А ребята наши, значит, кличут меня, слышу: «Панкратыч, жив ли?» А в руке у меня — Ц а р и ц а Н е б е с н а я! Как держал, так и... чисто на крыльях опустило. И не оцарапало нигде, ни царапинки, ни синячка...

Мальчик хорошо знает эту иконку (Горкин хочет ее положить с собой в гроб «душе во спасение») и всё, что в каморке его старшего друга и опекуна, — и картинку «Страшного Суда» на стенке, с геенной огненной, и

«Хождения по мытарствам преподобной Феодоры, и найденный где-то на работах, на сгнившем гробе, старинный медный крест с Адамовой Главой, и пасочницу Мартына-плотника, вырезанную одним топориком, и просвирки из Иерусалима-Града, и пузыречки с напетым маслицем, принесенные ему добрыми людьми с Афона.

Тема Иерусалима неоднократно возникает и далее: этот город не только принадлежит ветхозаветной истории — он реальна и русской жизни, помещенная в контекст обоих Заветов. Так, мокрый от дождя можжевельник пахнет ладаном, и Домна Парфеновна, тоже отправившаяся на богомолье, говорит: «В Ерусалиме славно, кипарисовым духом пахнет. Там кипарис-дерево, черное, мохнатое, как наша можжевелька, только выше домов растет. Иконки на нем пишут, кресты из него режут, гробики для святых изговояют. А у нас духовное древо можжевелька, под иконы да под покойников стелют». И та же Домна Парфеновна, рассердившись («бес на нее накатил»), кричит на Антипушку: «Ты еще тут встречаешься! На меня командоров нет!.. Я сто дней на одних сухариках была, как в Ерусалим ходила... и в Хотькове от грибной похлебки отказалась, не как другие... во святые-то просятся!» Или уже в самой Троице-Сергиевой Лавре: «пахнет с в я щ е н н о кипарисом [...] и можжевелькой пахнет [...] “Ерусалимского ладанцу возьмите, покурите в горнице для ароматов...”» Монах укладывает всё в корзину, на которой выплетены кресты. Все потом заберем на выходе.

В этом месте стоит напомнить, что название главы, о которой здесь идет речь, — «Царский золотой». Оно связано с уже упоминавшимся Мартыном, плотником Божьей милостью, человеком, в котором праведное и грешное сосуществовали, но именно праведное было понято как высшее, а грешное как то уклонение от праведного, за которое нужно каяться и просить прощения. Жизнь Мартына, очень разная, поучительна, и возвращение к ней в воспоминаниях всегда вызывает особое чувство.

Мальчик, почувствовав перемену настроения Горкина, а может быть, и угадав его собственное желание, напоминает: «А ты мне про Мартына все обещался... топорик-то у тебя висит вон! С ним какое чудо было, а? скажи-и, Го-ркин!..» Но Горкин, прежде чем начать свой рассказ о Мартыне, откладывает свой мешок в сторону, садится к мальчику на подоконник, жестким пальцем смазывает его слезинки:

— Ну чего ты расстроился, а? что ухожу-то... На доброе дело ухожу, никак нельзя. Вырастешь — поймешь. Самое душевное это дело, на богомолье сходить. И за Мартына помолюсь, и за тебя, милок, просвирку выну, на свечку подам, хороший бы ты был, здоровье бы те Бог дал. Ну, куда тебе со мной тягаться, дорога дальняя, тебе не дойти... по машине вот можно, с папашенькой соберешься. Как так я тебе обещался... я тебе не обещался. Ну, пошугил, может...

Приложение V

И когда мальчик, плача, грозя пальцем, кричит Горкину, что тот «обещался, обещался», что его Бог накажет, Горкин совсем смягчается:

— Ну, что ты такой настойный, самондравный! Ну, ладно, шуметь-то рано. Может, так Господь повернет, что и покажем с тобой по дорожке столбовой... а что ты думаешь! Папашенька добрый, я его вот как знаю. Да ты погоди, послушай: расскажу тебе про нашего Мартына. Всего не расскажешь... а вот слушай. Чего сам он мне сказывал, а потом на моих глазах все было. И всё сущая правда.

И вот, легко поокивая, как все плотники, володимерцы и костромичи, что работают у Сергея Иваныча, начинает он свой рассказ о Мартыне. Отец повел его в Москву «на работу».

Всем нам одна дорожка, на Сергиев Посад. К Преподобному зашли... чугунки тогда и помину не было. Ну, зашли, все честь-честью... помолились-приложились. Недельку Преподобному пороботали топориком, на монастырь, да... пошли к Черниговской, неподалечку, старец там проживал-спасался [...], хороший такой, прозорливец. Вот тот старец благословил их на хорошую роботу и говорит пареньку, Мартыну-то: «Будет тебе талант от Бога, только не проступись!» Значит, правильно живи, смотри. И еще ему так сказал: «Ко мне-то побывай когда».

Талант у Мартына был, действительно, великий, глаз верный, рука надежная, лучшего плотника не видно было. Умел хорошо и по столярному. Но когда умер его отец и Мартын стал сиротой, он пристал-порядился к покойному дедушке мальчика Ивану Иванычу, а до этого «всё по разным ходил — не уживался [...] Талант ему был от Б о г а... а он, т е м н ы й-то... понимаешь кто? — свое ему, значит, приложил: выучился Мартын пьянствовать. Ну, его со всех местов и гоняли». Пришел Мартын к дедушке мальчика. Горкин поудержал Мартына немного, «поразговорил душевно». Мартын помянул ему о старце. Горкин велел ему побывать у старца, о котором Мартын совсем забыл. Все-таки, наконец, побывал, но оказалось, что старец десять лет как уж умер.

Он и расстроился, Мартын-то, что не побывал-то, наказу его-то не послушал... совестью и расстроился. И с того дела к другому старцу и не пошел, а, прямо тебе сказать, в кабак пошел! И пришел он к нам назад в одной рваной рубашке, стыд глядеть... босой, топорик только при нем. Он без того топорика не мог быть. Топорик тот от старца благословен... вот он, самый, висит-то у меня, память это от него мне, откazan. Уж как он его не пропил, как его не отняли у него — не скажу.

Дедушка Иван Иваныч хотел его не принимать на работу, но мать его («а прабабушка твоя Устинья») вышла с лестовкой, молилась она всё («правильная была по вере») и говорит: «Возьми, Ваня, грешника, при-

юти... его Господь к нам послал». И дедушка взял к себе Мартына. Три года не брал он в рот хмельного. Работал хорошо. Что получит — принесет своей благодетельнице, и она заработанное клала за образа. Но вот подошло время Мартыну пить, а она денег ему не дает.

Как разживется — всё и проплет. Стало его бесовать, мы его запирали. А то убить мог. Топор держит, не подступись. Боялся — топор у него покрадут, талан его пропадет. Раз в три года у него болезнь такая нападала. Запрет его — он зубами скрипит, будто шепу дерет, страшно глядеть. Силищи был невиданной... балки один носил, росту — саженный был. Боимся — ну, с топором убежит! А бабушка Устинья выйдет к нему, погрозится лестовкой, скажет — «Мартынушка, отдай топорик, я его схоною!» — он ей покорно в руки, вот как.

Близился звездный час Мартына, а благополучие было уже полное: денег накопил много, в деревне построил себе хороший дом, «ну, жил и жил, с перемогами. Тройное получал! А теперь слушай, про его будто, грех...»

В то время строили Храм Христа Спасителя. Сам он каменный, но внутри было много работы по дереву. Сам Государь Александр Николаевич приехал посмотреть, как идет работа. Работой он остался доволен и вышел к рабочим, которых приодели во все чистое и выстроили в ряд. Царь поблагодарил их и выделил среди всех Мартына, стоявшего с краю. Кто-то из свиты посоветовал показать Мартына Государю в деле — «глаз свой доказать, что ни у кого нет» («Мартын, покажи аршин!» — звали его за точный глазомер). Государь ласково попросил Мартына показать свой секрет. «Могу», — говорит Мартын и попросил принести ему речку без каких-либо помет. Принесли и положили перед Мартыном. Он перекрестился, посмотрел на речку, на руки поплевал и р-раз топориком! — мету и положил, отсек». А Мартын Государю: «Извольте смерить, Ваше Величество». Смерили аршинчиком клейменым — «как влитой!» И еще несколько раз показал Мартын свое исключительное искусство. Государь был очень удивлен, поблагодарил его и дал ему золотой. Мартын тот царский золотой подложил под икону, «навек». Год не пил, и опять нашло на него. Всё от него поотобрали, а его самого спрятали. Ночью же он все-таки сбежал, пропадая с месяц. Горкин догадался посмотреть под образа — царского золотого там не было: пропал. Стали Мартына корить, что «царскую милость пропил», а он божится: не может того быть. Никто ему не поверил: спьяну и пропил. С того времени Мартын перестал пить. Когда же однажды его стали дразнить: «Царский золотой пропил, доказал свой аршин!» — Мартын побелел, как не в себе: «Креста не могу пропить, так и против царского дару не проступлюсь!» Помнил он наказ старца не проступиться. «А вышло-то — проступился будто». Никто не верит ему, а он на своем стоит. Но жизнь не в жизнь стала.

Приложение V

И вот, простудился он на ердани, закупался с немцем с одним [...] Три месяца болел. На Великую Субботу мне [Горкину. — В. Т.] и шепчет:

«Помру, Миша... старец-то тот уж позвал меня: «Что ж, говорит, Мартынушка, не побываешь?» — Во сне ему, стало быть, привиделся.

— «Дай-ка ты мне царский золотой... — говорит, — он у меня схоронен... а где — не могу сказать, затмение во мне, а он цел. Пойщи ты ради Христа, хочу поглядеть, порадоваться, вспомнать». — И слова уже путает, затмение на нем. — «Я, — говорит, — от себя в душу схоронил тогда... не может того быть, цел невредимо».

Горкин рассказал обо всем «папашеньке», и тот вынес ему для Мартына золотой, будто бы где-то разыскали, чтобы не тревожился больше. Когда Мартын увидел золотой, возрадовался, заплакал, поцеловал золотой и зажал его в кулаке. Соборовали Мартына, а на третий день Пасхи он умер с зажатым в кулаке золотым. Разжать пальцы не удалось и пришлось развернуть их долотом. «Выковырили мы, подняли... а в руке-то у него, на самой на долони — о-рел! Так и врезан, синий, отчетливый... царская сама печать». Золотой тот папашенька на сорокоуст приказал подать, на помин души.

Через год в комнате стали перестилать полы, и когда подняли доску, что лежала под мартыновым изголовьем, увидели «на накате, на черном... тот самый золотой лежит-светит!»

Так мне его желалось обменять для памяти! — закончил Горкин. — Да подумал — пушай его по народу ходит, верно... зарочный он, не простой. И отдали. Так вот теперь и ходит по народу, нечучемо. Ну, как же его узнаешь... нельзя узнать. Вот те и рассказ. Вот, значит, и пойду к Преподобному, зарок исполню, Мартына помяну...

Неутешно плачет мальчик. Жалко ему Мартына, жалко ему и себя, что не идти ему с Горкиным в Троицу к Преподобному. Но все складывается как нельзя лучше. Приезжает отец, как всегда веселый и шумный. Похлопывает по спине Горкина. «Что-нибудь радостное случилось?» И Горкин повеселел, лицо прояснилось. «Горка-старина, иди с нами ботвинью ешь!»: обед сегодня особенный. А среди обеда отец спрашивает: «Так... к Преподобному думаешь?» — и всё решается само собой; договариваться приходится лишь о частностях. «Может, и мы поедем... — говорит отец, — давно я не был у Троицы [...] Мы-то по машине, а его уж... — глядит на меня отец, прищурясь, — Бог с ним, бери с собой... пускай потрудится. С тобой отпустить можно [...]» И Горкин моргает мальчику, будто хочет сказать, как давеча: «А что я те сказал! папашенька добрый, я его вот как знаю!..»

Мальчик понял, почему Горкин во время разговора с отцом на дворе стал веселым. Но почему это так случилось? «Я что-то понимаю, но не совсем». И почему отец все смеется и повторяет:

«Всех делов, брат, не переделаешь... верно! Делов-то пуды, а она — туды!» Кто же это — она?.. Я что-то понимаю, но не совсем.

Следующая глава — «Сборы». Пешее путешествие в Троицу занимает несколько дней и требует сборов. Нужно многое предусмотреть и собрать, по меньшей мере, в трех отношениях: нужно собрать всё, что пригодится в дороге и в Лавре, проверить тележку, благо что дорога дальняя, отобрать нужное, в частности, и одежду; нужно собрать людей, которые вместе отправятся в Троицу (и случайностей здесь быть не должно); нужно собраться духом, настроиться душой, желанием, мыслью на это святое дело. Без этого лучшие из надежд не осуществляются. Горкин стал собираться духом еще до того, как высказал свое твердое намерение идти к Преподобному, и преодоление возникших препятствий только укрепляло его дух: твердость и неуклонность его решения зависела не только от того, что он лично, Михаил Панкратыч Горкин, хотел побывать в Троице: он должен был выполнить свой долг перед покойным Мартыном все эти годы, но эти «делов-то пуды» вынуждали все откладывать задуманное до этого раза, когда стало ясно, что больше медлить нельзя: «она — туды!» могла стать непреодолимым препятствием, и долг памяти остался бы так и не выполненным. И этого Горкин допустить не мог. Поэтому-то тема царского золотого и Мартына, которая сама по себе была бы достаточна для рассказа, здесь в «Богомолье» становится внутренним поводом для всего, что последует далее. Глава «Царский золотой» в композиции «Богомолья» не более чем некая экспозиция, но она и обнаружение того духа, который будет вести нескольких человек, собравшихся вместе, на пути к Лавре. Это путешествие не просто средство оказаться в Лавре: оно важно само по себе, оно ритуал и подвиг, но радостный и душеподъемный, и те, кто не может участвовать в нем, завидуют тем, кто отправляется в путь. Но эта зависть особая — соучастия.

И на дворе, и по всей даже улице известно, что мы идем к Сергию Преподобному, пешком. Все завидуют, говорят: «Эх, и я бы за вами увязался, да не на кого Москву оставить!» Всё теперь мне здесь скучно, и так мне жалко, что не все идут с нами к Троице. Наши поедут по машине, но это совсем не то. Горкин так и сказал:

— Эка, какая хитрость, по машине... а ты потрудишься Угоднику, для души! И с машины — чего увидишь? А мы пойдем себе полегонечку, с лесочка на лесочек, по тропочкам, по лужкам, по деревенькам, — всего увидим. Захотел отдохнуть — присел. А кругом всё народ крещеный, идет-идет. А теперь земляника самая, всякие цветы, птички тебе поют... с машиной не поровнять никак.

Соприсутствие этой Божьей красоты мира, собравшейся тоже во всей полноте и силе, образует явление Божественного и абсолютного и поэтому также входит в ритуальный круг богомолья, в предуготовление к